

Андрей Антипин

Родился 19 августа 1984 год в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области.

Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета.

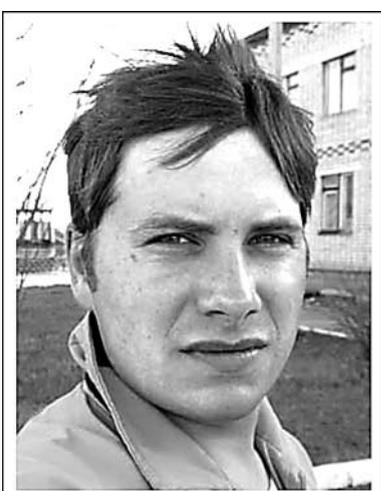
Андрей Александрович Антипин – член Союза писателей России. Публикуется в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность», «Сибирь».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ:

имени Леонида Леонова – журнал «Наш современник» (2010);

премии журнала «Наш современник» – за лучшую публикацию 2013 года;

премии имени И.А. Гончарова – за роман «Житейная история» (2015 год).



Автор книг «Капли марта» (Иркутск, 2012 год) и «Житейная история» (Иркутск, 2013 год). Живёт в родном селе в Иркутской области.

Теплоход «БЛАГОВЕЩЕНСК»

1.

Жара...

В голубой полуденной одыме видится: сжаты упругими, ветром и дождём до костной белизны вымытыми пряслами, уронили зелёные языки перестоялых трав удавленники-луга. Земля выжжена и обезвожена так, что, мнится, кузнечик, прыгнув с травинки на поле, способен поднять облако пыли.

Лена усохла, укатилась, стала болезненно мелкой, выставив к небу ожоги опечков и рёбра брустверов.

На дворе первая неделя августа, а лиственница в лесу уже наливается осенним воском, вянут листья на берёзе и осине, ртутными столбиками горят ветки краснотала в скособоченных поймах высохших ключей и задыхающихся родников.

В огородах поникла осыпавшимися розами цвета картофельная ботва, пожухла капуста, закручинились морковь и свекла в бетонной корке земли, которую то и дело протыкают острой лучинкой деревенские бабы, чтоб овощ вконец не загнинул.

Всё жаждет дождя!

Давно все грабли обращены зубьями к синему небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Повсюду пылают лесные пожары, и деревню затягивают удушливо-сладкие запахи дыма, кипящей смольём хвои и пыхающего в огненной полыми берёзового листа.

Раза по три на дно пролетает низко над землёй оранжевый вертолёт, осыпая Подымахино белыми бумажными агитками «Берегите

ПРОЗА ЖИЗНИ

лес!». Листовки тут же уходят по назначению: ребяшня делает из них самолётики, старухи собирают для всякой хозяйственной нужды, а чёрные подымахинские старики, рассевшись по тенётам, мастрячат из них злые самокрутки.

Когда же земному терпению приходит конец, и усталый, с сведёнными в скобку на подбородке чёрными усами директор, пыля на своём «бобике», объявляет об очередных неутешительных сводках из района, старухи, словно по тайному сговору, выволакиваются из своих изб. Торжественно, точно это сверху ниспослана им особая миссия, семянт к реке, отирая на ходу запылившиеся по амбарам иконки Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

– Я как полы в избе помою, у меня иной раз порожек отсыревает, – для проформы беседуют о пустяках старухи, возбуждённые предстоящим таинством.

– Вода закатится под порог, и другой раз высохнет, а когда стоит болотом. Я на доску-то ступлю, и если брызнет с-под порога – быть дождю! Вот сколько раз так было, – божится рассказчица. – А нынче уж два раза брызгала – и ничего.

– А у меня если коска заболит на руке, вот в этом месте, – старуха показывает на изгиб кисти, – то дождь пойдёт.

И кивает, убеждая, седой головой.

Скинув под угором яркие, узлом завязанные на лбу тонкие платки, старенькие платья в зелёных пятнах от свежескошенной травы,

лёгкие, уже почти исчезнувшие из употребления чирки, старухи лезут с иконами в воду.

– Баба сеяла горох и сказала деду: “Ох!” – пробормотав детскую считалочку, старухи разом уходят по горло в воду.

Они смеются, охают, кричат, толкают друг дружку на глубину.

Тут как тут и ребятня: стоят поодаль, удивлённо свистят в мокрые ноздри, никак не решатся подойти поближе к старым бабам, которые ещё полчаса назад гоняли их крапивою от малиника, а сейчас барахтаются в реке, бесстыдно выставив на обозрение всему свету жёлтые животы и квёлые, словно брусника в ноябре, старушечьи груди.

С угора глядят на старух любопытные старики – они, ребятнишки да ещё старухи остались в августе в деревне, – срамят для потехи, отвлекают от священнодействия.

– Загребай ловчей, Анна, шер-руды лопшойкой, шер-руды! – подначивает старик Иванов, далеко раньше времени записавшийся в ряды подымахинских старожил. – Во! Отгребись от берега подальше и заводись. Да шпонку не сорви... эх! Куда тебя кренит-то?!

– А ты пошто оробел нынче? – в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, подымахинская ворожея, инициатор купания с иконами. – Пошёл бы да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Настасья, отчаянная матершинница и единственная среди старух курильщица, чёрная, как баргузин:

– Ты за чего печалишься, девка?! – Бабка Настасья на время застывает недвижно в воде, долго, тая лукавую улыбку, смотрит то на Иванова, то на Анну. – Он имана своего в руках не удержит, не только што...

– Шмеля тебе под подол, старая, за твой говенный язык! – обиженно откликается Иванов и лезет в карман за куревом, откусываясь от насмешек стариков.

– Нырять, Настасья, топориком, да Миколу не потопи: Бог враз пензии лишит! – чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

– Сам не потопи!

На то старик Шишкин степенно отвечает:

– Тебе-то што? Легла на грудя – и плыви хоть в Якутска...

Откупавшись, омыв иконы да сотворив с перебивами подзабытую молитву, собранную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи тащатся домой, устало хлюпая мокрыми ногами в кожаной обувке. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками с зажатými между жёстких пальцев цигарками.

А дождя всё нет.

Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

2.

Спину и плечи жжёт так, что слёзы выступают на глазах от боли. Я то надеваю рубашку, то снимаю её. В рубахе жарко, а без неё туго: оводы-плевки осаждают открытое тело, красными волдырями вспучиваются укушенные места, в чуть кровоточащие ранки попадают пыль и пот, волдыри огнём горят и предательски чешутся.

А тут ещё мошка не даёт жизни. У меня все глаза красные: мошка то и дело забивается под воспалённые веки, и я тру глаза кончиком рубахи или наслонявленным пальцем. Да только это всё бесполезно. Едва вытащишь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже сидят все три.

До чего ж много мошки на Лене! Чуть поднимешь граблями сохнувшее сено, как тут же кипучей тучею взвивается в воздух гнус, и глазам делается темно.

Тогда хочется упасть лицом в мураву, зарыться с головой в рубаху и лежать, не шевелиться. Но лежать нельзя: после обеда будем метать сено. Его много навалили за последние два дня в три литовки дед, отец и мой старший брат.

Сейчас косы лежат в кустах, их работа покамест окончена. С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, добились оставшиеся полянки, полные густой, высокой травы, спутавшейся и завалившейся набок. Теперь осталось только высушить да скопнить скошенное и, в общем, с косьбой на Дресвяновом лугу покончено. Но уже завтра-послезавтра мы уйдём ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждут не дождутся осока и длинные будылья белого осота, который мы косим скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От неё тупеют косы, точно они сделаны из жести, а руки, ворочающие тяжёлую, всегда как будто мокрую осоку, вспухают жилами и «вытягиваются».

От одной этой мысли у меня темнеет в голове. Хоть бы дождь пошёл! Но на чистом, безветренном небе нет ни единой тучки. Небо прозрачно-голубое, и только полосками золотой фольги блестят в нём солнечные лучи.

Вот высоко над лесом возникает ясный, точно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба; птица некоторое время скользит по небосклону, но попадает в солнечную клетку и, ослеплённая, застывает в воздухе...

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули ливневые дожди, вспучили Лену, по-весеннему захлестнувшую паберегу и поля. Разбушевав-

шимся потоком подмыло и унесло копны и зароды, что стояли под угором у реки. Несомое сено застревало на затопленных брустверах, цеплялось за бакены, разматывалось по прибрежному ольховнику, упругие ветки которого стальной щёткой торчали над глинистым срезом воды.

Плевались в рваные тучи старики, когда, словно чёрные трупы неведомых огромных животных, пронесло мимо Подымахино добротные копны сена, а угрюмое вороньё, рассевшееся по выковырянным рекой остроинам, замогильным карком тревожило синюю даль берегов.

Нежданная мокреть, как наказание небесное, многие семьи заставила взяться за нож и порезать оставшуюся без прокорма скотину. Многие дворы и по сей день не очухались от прошлогодней беды, тут и там стоят нынче кошенными зелёные луга.

Наше сено стояло ближе к лесу, языки воды едва-едва приблизились к зародам, когда небо разъяснило и пенистая бурлина послушно утекла обратно в русло. Однако дождями, лившими почти две недели, прохлестало всё же таки наши копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать и сушить порченное сено, а потом замётывать его вновь. Всех чертей обругали, когда с тяжёлыми навильниками на плечах, отступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали копны на угор в опаске повторного наводнения.

Много сена погигло, да и то, что удалось спасти, не имело былой свежести и завлекательности. У меня до сих пор на памяти запах гнили и прелости, но я ничего не могу с собой поделать: гляжу и гляжу на небо и жду хоть какой-нибудь весточки о предстоящей непогоде.

Рядом орудует граблями мой дед. Ему уже под семьдесят. Колочая, с отчётливыми проблесками седины щетина покрыла чёрные от солнца и старости щёки. Голова не то чтобы лысая, а жидковолосая: как овцу, остригла его тётка огромными железными ножницами, какие в старину ковали в кузницах на долгие века. «Тут иман, там иман!» – встретила стариковскую стрижку бабка.

Вот дед останавливается, кладёт грабли на землю и достаёт из кармана кусок наволочки. По-старушечьи обмотав им голову, продолжает работу. Гребёт не спеша, степенно и с величайшим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет тени и солнце жарче, и всё строго в линию, вдоль Лены. Такие валки удобно потом собирать: зайдёшь с одного конца, уткнёшь вилы в сухую, лопающуюся от лёгкого нажима траву, и толкаешь в кучу, пока, как говорит дед, «из заду не подастся».

Временами старик с отчаянием трёт глаза и почему-то материт правительство. Мне это забавно, хотя и непонятно. И вот уже рот мой открыт в смехе, но тут же, как ленок, ловлю пригоршню неробеющей мошки, кашляю, плююсь и замолкаю. Я-таки поглядываю на старика в надежде, что мошка заест его до полусмерти, и он объявит привал (командует на сенокосе дед), но старик, как железный, шерудит и шерудит граблями, чуть слышно бормочет что-то, и мои упования умирают.

– Дед, а дед?

– Ну-у?!

– А почему луг называется «Дресвяный»?

– Потому что деревня тут стояла раньше, – после продолжительного молчания негромко отвечает дед, запамятавав, что и вчера и позавчера я уже спрашивал его об этом. – Деревня то и называлась Дресвяная...

Дальше этого понимания мысли старика не распространяются, и он замолкает.

– А деревня – почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так называли, потому что луг – Дресвяный?

– Ладом валы переворачивай, – диктаторски говорит старик.

– А почему яма называется «Сенькина»?

– Потому что Сенька возле этой ямы сено всю жизнь косил, – не переставая работать, говорит старик, и сказанное им также мне хорошо известно. Только для меня уже не важно, что какой-то Сенька косил там зелёные хлопья пырея. Сенькина яма для меня – это яма возле бревна, достопамятного только потому, что два года назад я убил на нём спящую гадюку. Но именно поэтому и через двадцать, и через тридцать и даже спустя сорок и больше лет я буду помнить и всеми позабытого трудягукосаря, и полусказочную деревню, и своего дедушку, который поведал мне о ней наперёд всего и всех. История окружающего мира начинается для меня с гадюки.

Подальше, у кустов, гребёт отец. Он раздет до пояса; спина, мокрая от пота, блестит на солнце, точно натёртая свиным салом. Ремешок, подпоясав штаны, засох и скоробился от пота, брюки в белых пятнах – то сохнет на солнце человеческая соль. Вчера я насчитал на спине у отца семь плевков. И хотя до него далеко, я не вижу, но думаю, что и сейчас не меньше. Только он, кажется, и не замечает их – гребёт и гребёт, лишь по временам прекращая свою работу, чтобы протереть залитые влагой очки.

У отца получают самые большие валки. Он ценит всё прочное и державное. Он видит в этом залог счастья и благополучия. Дед же видит в этом халтуру и, брызжа слюной, объясняет нерадивому, что толстые валки не просохнут.

На мгновение закипает перепалка, но тут же заканчивается: жарко. У отца в руках грабли – только медведю работать с такими. Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворённые под высохшую стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

– Сдуру знашь чё можно сломать? – вручая граблищи, спросил дед глубокомысленно.

Хрясь! Сухой треск! Отец зацепил грабли за ветку смородинника и сломал деревянный зуб.

Дед громко матерится:

– Ми-и-ша-а! Наладь этой чуме грабли, у меня уж сил нет глядеть на всё это!

Вот и появилась минутка для отдыха. Можно посидеть, посмотреть, как брат Мишка выстругивает ножом из сухой щепки зуб и забивает его на место сломанного.

– Потянет! – Мишка подаёт отцу «вылеченные» грабли. – Ты это, папаня... это ж тебе не борона!

Мишка старше меня на десять лет. Он только минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил сено, наскучал этим нехитрым крестьянским занятием и теперь работает в охотку.

Мишка самостоятельный человек: что хочет, то и делает, и даже дед ему не преграда. Захотел высморкаться – пожалуйста, бросил грабли и трещит попеременно из каждой ноздри.

– После картошек пойдём с тобой на Талую...

Забыв и о жаре, и о гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. Какое лето мы собираемся пойти рыбачить в верховье речки Королихи, которая не замерзает даже зимой и зовётся стариками «Талая», да только дело всякий раз заканчивается разговором. Одно время я был слишком мал, чтобы осилить с лишком тридцать километров таёжного бурелома, но вот я подрост (смотрите, как я подрост!), а Мишку как раз и забрали в армию на полтора года.

В последнее время нам мешает не одно, так другое. Иногда я вижу во сне: чёрный ломовой хариус сыграл на самолично мною вязанную из оранжевой шерстяной нитки крохотную, с чёрными усами из ондатрового волоса мушку, которую у нас рыбаки называют «морковкой».

– Хариус с ленком в конце сентября скатывается в Лену, – говорит дивное Мишка и берётся за грабли. – Покараулим на ямах с удочками...

– А из ружья дашь стрельнуть?

Я замираю от собственной наглости, затаив дыхание до того, что, кажется, даже мошка отступает от меня в удивлении. Осторожно,

страшась своего ожидания, выманиваю взглядом у брата, чтобы поперёд слов он ответил мне глазами. Облегченно выдыхаю спёрший грудь волнительный ком, когда Мишка утвердительно кивает головой. Даст стрельнуть из настоящего ружья!

Я стискиваю челюсти, чтобы не зареветь на весь луг в первобытном восторге и, не дай Бог, не попасть под гребёнку деда.

3.

От ручья идёт-прихрамывает по дороге дядька Николай – средний дедов сын. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь сметать сено. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро на землю, а сам садится в тенёк под кусты.

Замираем с граблями в руках. Молчим.

Ведро у дяди Коли крепко-накрепко обмотано куском старой простыни, который он всякий раз берёт с собой по ягоды. Однажды, возвращаясь домой с дальнего черничника, дядя Коля поленился привязать тесёмочкой крышку горбовика, а на спуске с хребта оступился, полетел вниз по тропе и рассыпал в заломах почти всю четырёхведёрную торбу. Теперь дядька осторожничает, и даже когда идёт по грибы, прихватывает тряпицу, чтоб обвязать ею ведёрко. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась кверху простынка, можно догадаться, что ведро полное.

Выдержав торжественную паузу, дядя Коля, наконец, снимает с ведра тряпку, словно занавес открывает. Полным-полно ведро красной крупной смородины, а ведь и двух часов, наверное, не ходил!

Дядя Коля умеет брать ягоду. Даже удивительно, как с такими огромными, как у него, руками можно так быстро работать. Сколько я ни пробовал, не мог обогнать: у дядьки уже почти полведра, а у меня едва закрывает донце.

– Па-а-рит се-го-дня, – размеренно протягивает дядя Коля, вытирая кепкой пот со лба.

– Сорок два в тени, – заявляет осведомлённый отец. – Что ты хочешь!? Сводка пришла – сорок пять ожидается.

– Сколь? – переспрашивает дед.

– Сорок пять!

Дядя Коля сокрушённо качает головой.

– Чокнешься!

Я упал под куст черёмухи и оттуда равнодушно слежу за разговором.

– Да не в том дело, что чокнешься, – сердито поучает дед. – Картохе наливать надо, а земля – пыхун. Что мы исти зимой будем? Вот как потеха!..

– Так вот в чём и дело, – вздыхает дядя Коля. – Хлеб на корню осыпается – Сергей Петрович говорил...

Внезапно он оживает:

– Городские накатили! Мужик с бабой и ребятишки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту... Помнишь, Миш, мы там брали ягоду с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу!

Дядя Коля загода смеётся.

– Сматрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уж почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услышала, тянет мать за рукав: ну, мол, пойдём назад...

Дядя Коля высморкался.

– А эта – нет, прёт! Я пуще трещу ветками и носом – швырк! – швыркаю громко. Они: медведь, медведь! Па-ле-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади неё! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля довольно смеётся, скалит белозубый рот.

– Уехали? – спрашивает дед.

– Кто?

– Городские-то. Про кого говорим?

– Уехали.

– А машинёшка какая у них?

– «Нива». Красная...

Дед иронично сплёвывает себе под ноги.

– И машина у людей есть – по какой, спрашивается, им эта ягода?

Дед никак не может этого понять. У него не ukladывается в голове.

– Или брали бы тогда где-нибудь поближе – неужто нельзя? А то за сорок километров едут. А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

– Так вот в чём и дело, – соглашается неохотно дядя Николай и громко зевает.

Дед с недоверием смотрит на него.

– А как оне на этой стороне реки оказались-то?

– На вертолёте перелетели! – подначивает любопытного старика Мишка. – Привязали машину стропою...

– Да брось ты, Миша! – обижается дед. – Я же ладом спрашиваю...

– Ну, по мосту переехали! «Как?» — главное... – сердится дядя Коля. – В Усть-Куте мост есть через реку!

4.

...Грабли то и дело валяются из рук: занемевшие и ставшие как будто мёртвыми пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко.

«В сущности, в чём дело? Кто я такой тут есть? Взять и уйти...».

Сначала меня брали на сенокос убирать из травы нанесённое половодьем хламьё, потом

– чтобы стергё лодку, когда уходили косить далеко от реки, в тот же Култук или к ручью. Затем вручили вилы: «Раскидывай валки, чтобы просохли!».

Прошлым летом я дослужился до граблей...

Нынче весной я воровски заглянул под высокую крышу амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают с поветей, как деревянные сосульки. Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я стал искать пути для его раскулачивания.

И вот на вечер перед сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьём и неустанными просьбами бабки, извлёк из амбара маленькую литовку и под пристальным вниманием двух заворожённых глаз насадил её на косовище.

– Где у тебя пуп?

– Там же, где и у тебя! – со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы жаль ему стало для меня косы.

– Я ладом спрашиваю! – сурово сказал старик, отводя в сторону глухаринные брови. – Так же и отвечай мне... А ну-ка!

Даваясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, аккуратный старик подогнал берёзовую рукоятку точно с моим пупком вровень и застопорил бечевою.

– Учись, Андрюха, пока дедушка жив. Отец-то у тебя... только с порфельчиком по деревне и бегать...

Дед незлобно выругался.

– А не надо писать? – насупившись на необразованного старика, я решительно вступился за отца. Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит на кухне, опустив кудрявую, первым снегом припорошенную голову, и что-то царапает на листке бумаги, наутро через знакомого шофера передавая написанное в городскую редакцию.

– Не знаю... Поможет это деревне, што ли? Когда – всё...

Старик взглянул на меня, как на взрослого, и я волей-неволей съёжился под этим тяжёлым проливным взглядом, гулко заколотилось в рёбра испуганное сердце.

Не дождавшись ответа, дед неуверенно замолк и опустил на корточки отбивать литовку...

– Ну, косарь, косарь, ети вашу мать! – смеялась бабка, когда на другой день со сверкающими, точно камешки слюды, глазами я пошёл на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо.

Затворяя за нами ворота, в пришёпоток навставляла напоследок старуха, зная, что на лугу

никто словом не поможет, скорее подзатыльники наваяют: «С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя – и пошёл, пошёл! Главно, не торопись. Литохка – она сама косить научит».

Я был поручен Мишке, поскольку своего бруска мне не доверили («Лапы обрежешь!»), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне выделили несложные загончики: обкосить у кустов, потом вдоль дороги, – и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Только недолго длилось моё счастье.

Пару раз засадил косу в землю, а дед уж на попятную:

– Добрую литовку угробишь! Никого в душуку нет...

И отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как добрые люди делают, и оттого лезвие вязала прошлогодняя поздняя трава, затаившаяся в новой, как гряда свалывшейся проволоки. Отец вон сколько кос переломал, пока косить выучился...

Как бы там ни было, но вот я снова представлен к надоевшим граблям, время от времени получая разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу.

«Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет тогда? Дед, наверное, так заорёт, что в деревне повесятся собаки...».

5.

В обед старик прислоняет грабли к берёзе – всё, шабаш! Швыркком бросаю своих деревянных мучителей на землю и лечу к реке, на ходу скидывая с себя одежду и проклятые сапоги.

Легкой, долгожданной прохладой объёмлет вода моё тело, когда, как в голубой сугроб, ныряю с разбега в прохладную Лену.

Ухожу в воду с головой, чтобы сразу сбить с себя течением пыль и пот. До чего ж хорошо! Чтобы понять мои чувства, нужно полдня простоять на лугу под раскалённым солнцем, обгореть до малиновой красноты, пропотеть, забить глаза, нос и уши сенной пылью, до крови расцарапать всё тело, которое жалят паузы, – иначе не поймёшь.

– Кто без штанов бежал в кусты? – кричу восторженным горлом соседнему берегу, и берег отвечает длинным «Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!». Я хочу крикнуть: «Кому не спится в ночь глухую?», но к реке так некстати приходит отец.

Первым делом отец полощет рубаху и носки, потом только лезет в воду. Стоя по пояс в реке, тщательно моет лицо, шею и живот, на котором в густой поросли волос застряла сенная труха. Смыв первую грязь, отец тяжело оседает и плывёт, размеренно, как лось.

За отцом ковыляет к реке дед. Старик становится на корточки, черпает ладошкой воду и, как котёнок лапой, моет голову и лицо.

– Хорошо, бляха! – блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплёвывает в реку. – Ты, Андришка, далеко не заплывай! Ишо захлебнёшься...

– Ну, закаркала ворона! – раздражённо отзывается отец, поворачивая к берегу.

– Я не каркаю. Я знаю, што говрю! – осекает старик. – Воронка или мало ли чё? Мне девять лет было – засосала, родимая! Спасибо, ребята постарше на берегу были – вытащили. С тех пор...

Заплываю так далеко, что не слышу голоса старика. Только по отчаянной жестикуляции с берега догадываюсь, о чём кричат.

Отвернувшись, плыву дальше, обмирая от страха и восторга перед голубой манящей пропастью под ногами. Выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на камнях, точно на угольях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у костра.

После купания особо ощутимым становится голод. Кажется, что стрессаешь целого поросёнка – и не заметишь.

На угоре, под раскидистым кустом ольхи, сколочены из досок стол и лавка к нему. Второй лавкой служит здоровенный листовничный болван, несколько лет назад приплывший с большой водой, да так и оставшийся тут, завязший навеки в упругих кустах корявой вершиной. Этот болван во всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков, заодно славливая всякое другое хламьё, которое мы потом употребляем на дрова.

С одного конца в бревно вбита стальная бабка, на которой отбиваются косы, а другой весь в расщепе – здесь рубятся на растопку словенные доски.

После сытного обеда на листьяке можно даже полежать – уж так он могуч и широк.

Прихожу к костру, когда все уже в сборе. Тучные дед, отец и дядька сидят на бревне, мы же с Мишкой устраиваемся на лавочке. На столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, отваренные яйца; стоят баночка с творогом, кастрюля с тушёной картошкой – всё, что дают нам двор и огород.

На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени, всё это приготовлено и собрано добрыми руками моей бабушки.

По старой привычке, может быть, известной человеку с момента его появления на свете, сперва разглядываем яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть. Старшие едят быстро, особенно дядя Коля. Только и брызжет с уголков его рта зелёный сок сочного ботуна. Но уж в чём,

в чѐм, а в этом я преуспеваю не хуже дядьки и быстро, едва прожевывая, орудуя ложкой и руками – иначе ничего не достанется.

Дед меня всячески поддерживает:

– Ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!

Когда животы набиваются донельзя, на столе, как чумазий хан Батый, появляется закопчѐнное ведро чая. Мы разливаем чѐрный напиток по кружкам, от кружек ударяет душистым запахом смородины: дядя Коля постарался, набросал листьев.

Вслед хлебу-салу приходят пряники и конфеты. Отец довольно потирает вспухший сытостью живот:

– Как раз осталось немного места для сладостей! «Орехо-со-е-вы-е...».

После обеда с полчаса – отдых. Можно бы, конечно, поспать, но вот удивительная вещь: ещё час назад я и думать об этом не смел, а сейчас сон и силком не заманишь.

Дядя Коля сидит за столом, отец с босыми ногами – на земле, дед, треща ветками, исчезает по нужде в кустах. Все молчат, думая о чём-то своём, каждый, наверное, радуясь короткой передышке в этой жизни.

Только Мишке не сидится, и он принимается загодя отбивать литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье молотка кажется чем-то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!

Отбив литовку, Мишка ловко правит её бруском.

Дядька, равнодушно наблюдавший за ним, словно просыпается.

– Это... Забыл, в каком году – в семьдесят восьмом, кажись? – приехала из города бригада студентов помочь колхозу сено косить. По пабереги тоже; ну, кусты, вымоины – тракторами-то не скосишь... Я на «сто тридцатом» работал тогда, ага. Привѐз одну партию – несколько парией – сюды вот, на Дресвяный. Тут тогда дядька Никанор был за главного у них, ага. Ну, отбил он им литовки, спрашивает: лопатить-то, мол, умеете? Все покачали головой, а один дурачок выскочил: чѐ там, мол, не уметь?!

Дядя Коля сплюнул в сторону.

– Но!.. Дядька Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать. Тот взял. Косу правильно, ковошищем в землю, воткнул, да надо было аккуратно, а он – р-р-ра-аз! со всего маха! – и два пальца на руке срезал до самых костяшек! Заорал, правильно, кровяща полилась... Ну, чума чумой!

Возбужденный воспоминанием, дядька ещё раз сплёвывает и с осуждением качает головой. У меня же от его рассказа что-то как будто отрывается внутри, я в страхе смотрю на Мишкину литовку и тут же прячу руки в карманы брюк.

– Ягода-то ещё есть по ручью? – приковылял из кустов дед. – Не всю ещё вырвали?

– У-у, есть! Полно! Хоть каждый день бери.

– «Каждый день!» – вспыхивает дед. – И брали бы, дак сахар-то сколь рублѐв стоит? Варенье жрать не захочешь, не только што... И почему это за ценами никто не следит? – тоном прокурора вопрошает старик и строго смотрит на нас. Я трушу его грозного взгляда. – Это куда дело годится? Каждый вертит, как хочет, а об стариках никакая думы нет...

– Кто на сѐднишний день смотреть за этим будет? – вступает в разговор отец. – Частное предпринимательство! Рынок! – заканчивает раздражѐнно, ударив ребром руки по железной кружке.

– Это раньше другое дело было – всё государственное! – зевая, поддерживает дядя Коля. – А щас?!

Деда эти доводы не устраивают. Он наливает из ведра чаю, но отставляет кружку в сторону.

– А вы по какой тогда нужны? Зачем мы вас с баушкой кормили-ростили?! За-а-чем? – срывается на дряблый крик. – Скажите мне?!

– Ну, политикан, ну, завѐлся! – нервничает отец. – Не хочешь жить – ложись и помирай! Так на сѐднишний день.

– Во-во! – машет дед костлявым кулаком. – Такие вот дуролобы и загонят Россию в гроб!

– Кто загонит?!

– Да хватит вам! – осаждаёт спорщиков Мишка. – Заорали! На той стороне слышать...

– Ты, Миша, только послушай, что она говорит?! – Дед, чтоб уязвить сына, сознательно отзывается о нём в женском роде. – Ложись, говорит, дедушка, и подыхай! А что я жизнь в поле проработал, в холоде, в пыли, катаракту нажил, геморрой заработал?.. Это им наплевать!

Отец, не найдя что ответить, хмыкает, а дядя Коля тихо дремлет, по-сусличьи пузырьра полные щѐки.

Деда это молчание только раззадоривает.

– Вы посмотрите, сколь мука стоит стала! Как раз половина моей пенсии куль! Да каждый торгаш по-своему цену гнѐт, всё выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих из котомки воровать! Это куда дело годится? А я этот хлеб своими руками растил! Неужто мне теперь и слова сказать не можно в свою же защиту?!

– Ты лучше спроси, как мы сено нынче вывозить с этой стороны будем. Машину найми, бензином заправь, в совхоз за путѐвку на паром уплати, да капитану литру поставь, плюс на стол собери...

Отец ещё и ещё загибает пальцы. И объявляет: «Золотое молоко получается!».

– Скоро ничего не будет! – зло восклицает старик. – Большемудрый доведёт страну до окончательного развала! Горбач начал, а этот прикончит. Помянёте потом меня – скажете, правильно нам говрел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

– Ну, завёл панихиду...

– Я знаю, что говорю. Троха пол-эсэсэра прошёл, Троху шиш обведёшь!

Сражённый стариковыми доводами, отец опускает голову, глядит под ноги:

– Да... Конец деревне приходит! Поставили крестьян на вымирание. Щас ещё введут земельный налог — и всё...

– Взорвать! Швырнуть бомбу в ту Думу, чтоб не изгалялись над народом!

– Какой смысл? Большевики уничтожили царизм – и что? На смену одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Ещё одну революцию устроить хочешь? Мы от первой ещё не оклемались...

– Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну – и всё....

– И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к ответу призовут.

– Пускай призовут, пускай, – старик поспешно поднимается на ноги, как будто готовясь прямо сейчас держать ответ. – Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, таку комедию устроил? А я им отвечу!.. Ты бы, Саня, об этом мог написать, знаешь ведь...

– А что толку писать? Что толку взрывать? Придут другие и вовсе потом всех задавят. Только терпеть! А как больше? Нужно переждать, пока само собой не рассосётся. А орать и взрывать ничего не даст. Кто тебя послушает?

– Ну, сидите-сидите! – иронично поддакивает дед. – Я посмотрю, што вы завтра жрать станете. Камни собирать пойдёте! До каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок вырвать норовит?

– Долго ещё будет... Пока каждый депутат себе особняков не понастроит да в зарубежные банки денег не напрячет, из нас кишки тянуть будут.

– Во-во, правильно ты говоришь, Саня! – радостно соглашается старик. – И я говорю: скинуть бомбу с самолета – и всё, всех-то делов...

Не встречая сопротивления, дед вскорости и сам замолкает и только по обыкновению, в такт своим тайным размышлениям, качает головой.

6.

...Босым ногам горячо стоять на раскаленных камнях, я забредаю в воду. Вокруг меня скапливается стайка всевозможных мальов: бледнобокие ельчики, пронырливые мальяшки, пеструшки-скромницы, задиристый оку-

шок... Запускаю блесну в самую гущу – и рыбки в панике рассеиваются кто куда...

Спиннинг у меня особый – выстраданный. Через мои горячие слёзы мать купила его в городе у толстого армянина, который значительно убавил цену и даже подарил моток лески и набор блёсен. Удлишице у моего спиннинга из жёлтого пластика, а ручка деревянная, резная, зелёного цвета. Спиннинг в три раза длиннее меня! Я уже владею им почти в совершенстве. Нет у меня вещи дороже!

Вот только не везёт мне пока с рыбалкой. Одну-единственную щуку поймал за всю жизнь. И случилось это нынешним летом, здесь, на Дресвяном лугу.

Старшие косили у ручья, а я без устали сёк и сёк реку прозрачной жилкой, но в лучшем случае ловил пучки зелёных водорослей. Когда же от поминутной неудачи я совсем перестал думать о рыбе, на леске повисло что-то тяжёлое. «Опять трава! – уныло подумал я. – Вытащу и пойду к костру». Каково же было моё изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска ходила ходунгом, я увидел огромную светло-золотистую щуку. Хищница всплыла на поверхность воды и покорно следовала за металлической обманкой, золотистым языком торчавшей из клыкастого изумрудно-блестящего рта. Ближе к берегу рыба заволновалась и стала выкидывать «свечки». Обезумев от радости, я на буксир вытащил её из реки и, опасаясь, что драгоценный трофей уйдёт, пристукнул рыбину камнем по голове, как это делал дядя Коля. Забыв о брошенном спиннинге, прижав мёртвый улов к груди, я бегом кинулся к табору, с восторгом думая о том, как в обед сразу всех своей рыбацкой удачей...

Сегодня мне не везёт. Жалкая травянка кинулась из-за камня за блесной, но, проследовав за ней почти до самого берега, в последний момент вильнула хвостом и уплыла.

...Еще не дойдя до костра, слышу, как взрывает мотор, и лодка с Мишкой и дедом бегом скользит к противоположному берегу, за остроинами.

Остроина – это длинная жердь, которую вкапывают в землю. Вокруг этой жерди кладётся-паматывается сено, как пряжа наматывается на веретено. Каждое лето мы ставим новые остроины, потому что каждую весну ленивые рыбацки рубят и жгут прежние. А плавать за жердями нужно на соседний берег реки, где лес. На этом тоже лес, но идти к нему через широкое, не меньше километра, совхозное поле, засеянное овсом. А тут через пару минут после того, как лодка ткнулась в левый берег, доносится стук топора, и вот уже «Казанка» жужжит обратно. Словно стволы пуклётов, нацелены в нашу сторону верхинки сосновых жердей.

Помогаем вытащить из лодки пять длинных тяжёлых жердей, уносим с берега на угор, где лежит давно высохшее сено – море светло-жёлтой умершей травы.

Страх берёт от мысли, что всё это нужно собрать. Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на куст рубаху – белым бакеном будет она для нас, когда, измученные, поплетёмся вечером от ручья к костру.

Дядя Коля, подмигнув, подтягивает на штанах ремень, убирая крупный живот, а Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как всегда, ставят неподалёку от ольхового куста, в низинке. От неё, как по ниточке, потянутся вдоль дороги к самому ручью наши копны.

– Забивай, Миша, покрепче колья, а то как бы не скovyрнулась остроина... – говорит по установившемуся порядку старик, боязливо поглядывая на проткнувшую небо жердь, другим концом уткнутую в лунку в земле.

– А я говорил: легче нужно было вырубать, тоньше. И куда торопимся?

– Тоньше, так она трохи жидковата будет, Миша. Поведёт копну, завалится.

– А эта шибанёт по башке: ума нет, считай – калека!

– Так ты осторожней! – старик налегает на берёзовый кол, по-жабьи надувая щёки и с одышкой отпыхиваясь, в намеченном месте чуть-чуть загоняет отточенное жало в землю.

– Сдуру можно не только што... Забивай!

Вот и остроины поставлены. Сейчас начнётся ломовая работа.

Отец вынимает из кустов вилы с толстым черенком, за ним берётся за вилы Мишка. Мы с дядей Колей должны сгребать маленькие валочки в один большой вал, который станут таскать в копну Мишка с отцом. А у остроины поставлен дед. Он руководит мёткой копен.

Грузный старик топчет сено долго, основательно. Копна расплзается в лепёшку, как тесто, и трудно поверить, что из неё что-нибудь выйдет. Но рассудительней всех дядя Коля. Он прихватил с собой стропу – длинную, метров двадцать, капроновую ленту. Он сворачивает её вдвое и кладёт на землю. Сверху набрасываем кипищу сена, стягиваем стропой и, взявшись за концы, волочём, словно ломовые. Сзади, упершись вилами в наш с дядей Колей воз, помогают Мишка с отцом.

За один раз сена притаранено столько, что минут пять, пока метается эта ноша, можно отдохнуть. Но как же коротки эти пять минут!

Копна медленно, но уверенно растёт. Вот уже и вилами трудно доставать до верхушки, неудобно подавать сено. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится на сено, закрывает глаза и с обречённым выражением лица начинает сползать вниз по копне.

– Держите! – кричит надрывно.

Мишка с дядей Колей подхватывают старика и со смехом опускают на землю.

Дед, жалуюсь, медленно поднимается на ноги.

– И куда тебя, дедушка, гонит?– говорит сам себе, не ища ничего сострадания. – Попивал бы сейчас чай с мармеладом или прогуливался по угору в ботиночках, как студентик...

Я стараюсь поймать глазами взгляд отца: можно?

– Ну, давай, – отец втыкает в середину копны вилы. Я цепляюсь за черенок, под зад меня толкает Мишка, и вот уже я, как белка, вскарабкиваюсь на самую верхотуру.

Встаю, и у меня начинает кружиться голова: высоко! Снизу подают вилы с коротким черенком. Плюю на ладошки.

– Серёдку больше набивай, – советует снизу отец. – Да за остроину держись, а то упадёшь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой. Я смеюсь; в рот и в нос попадает пыль; чихаю и поначалу не очень споро выполняю свою работу. Снизу, как раньше деда, торопят. В тон старику ору с копны благим матом:

– А не утопчешь ладом, пролёт копёшку дождями – опять перемётывать?!

И уже категорично заявляю:

– У меня времени не-ет!

Наконец, дело совсем подвигается к завершению. Оставаться на копне дальше – только верхушку ломать.

Сбрасывая вилы па землю и с криком «Разойдись!» скатываюсь следом. С видом победителя взираю на наше творение.

Но что за уродство? Вместо прямой стройной копны, какой она казалась сверху, передо мной словно чучело Зимы, созданное ребячнёй иа Масленицу.

Незамедлительно делюсь переживаниями с дедом.

– Сейчас, – успокаивает старик. – Не всё сразу – оскребём.

И дед граблями начинает аккуратно оскребать копну с середины донизу. Выграбленное сено Мишка забрасывает наверх вилами на длинном черенке. Копна на глазах превращается из неопрятного уродца в стройный церковный купол. Даже солнцу приятно передохнуть на таком – огненным петухом примостилось оно на самом кончике остроины.

– Ну вот, одна есть! – оглашает Мишка завершение работы. – Можно и перекурить.

Садимся на пригорке, у кустов.

Только дед ещё возится: чтоб крепче копна стояла и не завалилась, подправляет с боков граблями, черенком забивает под копну оставшиеся клочки сена.

– Всё-то он оглаживает, всё-то он прихлывает! – залиvisto смеётся дядя Коля.

Дед сердито, с матерком, сплёвывает, но тоже не может удержаться: хихикает.

– Потеха!

Отец недоволен. Покусывая соломинку, скептически рассматривает сотворённое.

– Ты с Перевеса готов всё сено стаскать в одну копну! – без обиды, скорее с тайным восхищением, замечает Мишка.

– Я бы вообще зародам металл!

– Раньше так и делали, – с хрустом в износившихся суставах опускается на землю дед, подгибает под себя правую ногу, чтоб удобней было сидеть. – Замётывали сено на деревянные сани, потом зимой – по снегу – вывозили. Сани с лета на чурки ставили...

– Зачем?

– А чтобы полозья к земле не примёрзли. Не сдёрнешь, если пристынут. Несколько тонн-то! Попробуй-ка...

Громко, с подвывом, зевает, обнажая ряд серых, но ещё крепких зубов.

– Или на волокушах вывозили. Свалят две-три берёзы вершинами вместе, в комлях циндровкой просверлят, трос стальной проденут...

Это дед уже для меня, чтобы знал, как да чего было.

– Наматают зарод, потом вывозят – по снегу ли, по земле ли. Всё больше зимой, конечно, занимались. По чёрной земле тартать – до самого- самого изотрётся. Хотя её, волокушу, все равно на дрова потом пилили. Второй раз не поедешь с ей...

– Почему?

– В лес кот дерево повезёт? – снисходительно, как несмышлёному, разъясняет и Мишка. – Думать надо!

– Вымирает народ, – непонятно для чего сказал отец. – Всё уходит в прошлое. Написать бы об этом книгу – сколько у меня материала собрано! Да грамотёшки не хватает...

Отец по старинке наивно верит, что «грамотёшка» даётся в городе, в университетах, что тамошние учёные мужи о происходящем в деревне знают не хуже его и тягаться с ними деревенскому пеньку нечего – так, черкнуть когда статью в газету...

7.

Близится вечер. На западе по окаёмку горизонта проползает медная змея заката. И уже шуришит слева от нас, на скошенной поляне.

– Змея!

Одним махом Мишка оказывается рядом, прижимает гадюку к земле кирзовым сапогом.

– Найди бутылку!

Момент – и я на берегу, а уже через минуту лечу назад с пластиковой тарой.

– Крышку открой!

– Наденьте ей горлышко на голову – она дальше сама заползёт...

Змея упирается, грозит вырваться из плена, но как только голова оказывается в бутылочной горловине, сама покорно залезает в тару.

Мишка заворачивает крышку и бросает мне бутылку.

– Растопим на солнце, а зимой капканы на соболей ставить будем.

Свернувшись клубком, змея дерзко смотрит на своих врагов, бросается и пытается укусить четырёхзубой пастью стенку бутылки, когда я стучу в неё пальцем.

– Тоже жить хочет, – между прочим говорит дед.

– Ну дак, – хмыкает дядя Коля. – Тебя бы так!

– А што, мне лучше?..

Ставлю бутылку на солнце.

– Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?

– Ну, укусила, – подтверждает дядька. – Тоже по ягоду ходил. А змей было в том году! Високосный год был, как щас помню. Всюду змеи кишмя кишели – пропасть! Я болотники расправил и хожу вдоль валов, смородину собираю. Как она меня не заметила? Я ей на хвост наступил, а она меня в болотник – раз! – куды там, не прокусила! Только белые капельки остались...

– Чё это? – интересуется дед.

– А яд.

Некоторое время молчим. Тишину нарушает старик:

– А вот у меня случай был со змеёй (я ещё мальчишкой был). Нас много, ребяташек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного, лет девяносто было ему, а он всё косил. Вот взялся он вечером литовки отбивать, а я пособлял ему, косовища держал, – другие-то ребяташки спали уж...

Дед чешет переносицу, потом большую, заросшую волосом, чёрную родинку на крупном носу...

– А тут змея! Как из-под земли, честно слово. Я-то её вижу, а дед – забыл, как зовут? – не видит. И словно онемел я, слова сказать не могу, предостеречь, значит, старика. А она залезла деду в ичиг – тогда круглый год в ичигах ходили – и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает и, достав платок, начинает громоподобно сморкаться.

– А со стариком что стало?

– Умер, што стало. На лодке мы его сплавляли в деревню...

Дед тяжело, бочком, упираясь локтем в землю и кряхтя, поднимается на ноги.

– Пойдём, однако, времени у нас мало, а работы непочатый край...

К закату ставим три больших копны.

Когда завершаем последнюю копёшку, валюсь под кусты смородинника.

«Будем сегодня метать ещё или уж завтра? Хорошо бы, если завтра, а сейчас – домой! Сегодня суббота, банный день. Приятно после бани поваляться на диванчике, посмотреть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и ихние доньчата, занятые каким-то смешным трудом. Дома прохладно, квас в холодильнике, крошечку, наверное, приготовила мама к бане...».

Но все мои надежды рушатся, когда раздаётся голос деда:

– Время есть. Сметаем ещё одну вон у той берёзы...

Канючу:

– Ну дед!

– Что дед? – гнёт подковы-брови старик.

– За-автра!

– Тихо! – говорит Мишка, настораживаясь.

Объявляет:

– Восемь часов – «Благовещенск» идёт.

Да, это он!

Каждый день он проходит мимо Дресвяного луга, маня и волнуя моё детское воображение. Его ещё не видно, но уже отчётливо слышно, как он идёт-гудит за поворотом реки, летит-доносится его весёлая музыка. И тем волнительней она здесь, где только и слышно, что шуршание сена да тяжёлое, учащённое дыхание работающих на износ людей.

Вот он медленно, величаво является нашим взором, большой и ослепительно белый. Уже можно прочесть его гордое имя, написанное на боку большими чёрными буквами: БЛАГОВЕЩЕНСК.

Он вещает благую весть.

В чём заключена его благая весть?

Я не знаю, в чём, но всякий раз, как его вижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я желал плыть на этом теплоходе!

Я с завистью гляжу на него, на счастливых, непонятных мне в своей беспечности людей, вышагивающих по палубе, а в голове толчками взволнованной крови стучится мысль о какой-то иной, неизвестной мне жизни.

Что видел я в свои двенадцать лет?

Каким одиноким я чувствую себя в этот момент на душной и затравленной, поставленной – как говорит отец – на вымирание крестьянской земле.

Как мелки и незначительны, как бессмысленны дни моей серой деревенской жизни, когда плывёт нарядный теплоход и люди на нём пьют из сверкающей посуды дорогие напитки.

А «Благовещенск», словно нарочно красуясь передо мной, так и скользит по голубой

ленте реки. Шлепают о воду «лапти», является, как птенец из гнезда, красный свисток над тонкой трубой, и реку и луга оглашает громкое приветственное «Гу-гу-у-у»...

– Бла-го-ве-щенск! – как заклинание, повторяю запекшимися от волнения и жажды губами.

Возле Дресвяного луга река Лена, стянутая корсетом брустверов, тончает в талии. Теплоход помалу забребаёт в сторону нашего берега, где глубже, и через некоторое время становится настолько близким, что кажется: ещё немного – и черканет железным брюхом о каменную кромку.

Вот уже и люди на палубе видны так ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Я бессмысленно скольжу взглядом по незнакомым лицам: вот большие, смешно опущенные к подбородку усы, вот туго обтянутая платьем грудь дородного вида женщины, а там, в отстранении от остальных, в светлых одеждах пожилая пара рука об руку, совсем не похожая на моих бабу с дедом...

Тут жадный взор мой натывается на мальчишку в жёлтой панамке на голове, с мороженым в руках, которое, конечно же, закупили ещё в городе, потому что у нас в деревне мороженого нет. Его, наверное, хранили для него в какой-нибудь специальной морозильной камере, установленной на теплоходе, а иначе, конечно, оно бы растаяло...

Нет, вот он не так ест, как надо бы, лизнёт раз-другой и пялится на нас три часа. Я бы, конечно, не стал размузыкивать! Я не вижу, но догадываюсь, что мороженое, подточенное солнцем, капает на корму. От этого мне становится не по себе, как будто самое сердце моё иссыкает по капле.

На ногах у мальчишки пижонские сандалики – и я с вызовом ложного превосходства и обиды смотрю на него, сквозь зубы сжеживая на раскалённую резину сапог тягучую слюну. Мне хочется крикнуть жёлтой панамке что-нибудь обидное, но я не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Завороженные, мы смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, судно с другой планеты. Отец козырьком приложил ладонь ко лбу, защищая очки от солнечного света. Временами он впечатленно хмыкает и с досадой рассекает рукой воздух.

Дед опёрся о черенок воткнутого в землю вил и подслеповато щурится на «Благовещенск».

– Интересно: сколько билет стоит на эту хреновину? – требовательно оглядывается на нас, устремивших любопытные взоры на теплоход, но ответа не дожидается.

– Тыщи две-три – не меньше, – говорит убеждённо и снисходительно смеётся. – Как раз наши с баушкой две пенсии!

Мы не обращаем внимания на старика, потому что женщина в старомодном голубом платье, каких давно нет даже у наших деревенских дев (наверное, мать этого глупого мальчишки), помахала нам с палубы.

Дядя Коля снял с головы засаленную кепку и со смехом машет ею в ответ.

– Приезжай к нам! – кричит, сверкая белками озорных глаз. – На рыбалку пойдём с ночевой!

Женщина тоже что-то кричит и весело смеётся. Речной ветерок до колена обнажил белую ногу, вынутую из туфли и поставленную на металлическую решётку бортов. Как занавес, расходятся голубые полы и властно приковывают к себе мой смущённый взор. Мне кажется, будто я отчетливо вижу нежные лодыжки, там, где остался розовый след от ремешка туфли, едва-едва тронутые загаром.

А в голове моей возникают литые, оплылавшие густым солёным потом, словно бы обуглившиеся плечи отца...

– Лаптёжник! – презрительно говорит Мишка. – И смотри, дядя Коля, бегают ещё!

– Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место – тоже побежишь!

– Такие уже не делают теперь... – роняет отец.

Дед поправляет на голове платок из куска наволочки, но без гордости вспоминает, должно быть, самое яркое событие своей жизни:

– Я тоже плавал! Молодым ишо... Поплыли с Михаилом Шишкиным в Якутск – учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал нам справки... В Осетровском порту грузились баржи, мы воровски пробрались на пароход «Полина Осипенко», – денег-то на билет не было, откуда они – деньги? – спрятались за ящиками и поплыли.

Дед тоненько, с матерком, смеётся и покачивает головой, порицая себя за молодецкую непутёвость.

– Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, упростили мы капитана, дозволил нам плыть. А пароходы-то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми днями-ночами и пихали лесины в топку... Двадцать два дня плыли! А через полгода возвращались в рубашке да в кальсонах. Доскребились до Киренска – снег пошёл. Мать-перемать, думаю, понесёт шугу, и станем посреди реки! Но доплыли кое-как. Я в Казарках вылез, а Шишкин до Осетровой проплыл – стыдно ему было в деревне в таком виде появиться, а в городе у него тётка жила. Пришёл я огородами к дому родителей... Худой, обвешивший, в руках фанерный чемоданчик...

Иронично сплюнув, громким, весело-наравоучительным голосом старик заканчивает:

– И сапожниками не стали, но свет повидали!

Я не слышу старика. Я жадно смотрю на теплоход, который уже далеко от нас.

Вскоре он пропадает за поворотом реки, но ещё долго доносится до Дресвяного луга его крылатая музыка. Туда, где растаял «Благоселенка», забредает по самые бока уставшее солнце, роняет в воду жёлтые капли пота...

Мы молчим. Молчит луг. Только в траве строчит свою песню-стёжку саранча, да в реке, гоняясь за мальком, бухает хвостом о воду жирующая щука.

И вдруг до нас долетает «Гу-гу-у-у...», но уже грустное, прощальное. Я срываюсь с места, бегу, падаю, запнувшись за толстые стебли свиного борща, расцарапываю голое тело о ветки шиповника.

– Ну, и куда этот пошеленец побежал? В Пушшино?

– Я его завтра дома оставлю! – заверяет отец, но я знаю, что не оставит, потому что уже не раз обещался – и не оставял.

– Да успокойтесь вы! Привыкли, чуть чего – орать! – вступается Мишка. – Пойду, схожу за ним...

– Ты сам-то не кричи только там! – советует отец, когда Мишка спускается под угор. – Действительно: хватит, батя, доорались уже...

Мишка находит меня на бруствере, пристраивается рядом на камень и – молчит. Пускает блинчики по воде, заинтересованно считает касания. Долго смотрит на течение...

– Светлеет вода... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник. Белая блесна уже не пойдёт – красную надо. Или жёлтую, из латуни. У тебя есть латуневая?

– Нету, – хмуро буркаю в ответ.

– Подгоню тебе. Я до армии занимался – делал такие. Есть там одна уловистая – сколько щук перетаскал на неё! Мне-то она...

Пристыжённый наивной слабостью, возвращаюсь с берега на угор. Следом Мишка стучит сапогами по камням, задумчиво щурится.

«Подожгу всё их сено!» – рождается во мне злая мысль, но уже через миг я стыжусь её. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля. Стараюсь не глядеть им в глаза, а они, словно обо всём ведая наперёд, ни о чём не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идём к ручью, где предстоит сегодня сметать ещё одну копну.

Остановившись у последней остроины, иголкой воткнутой в зелёное сердце земли, дед вполголоса бормочет:

– Живут же люди...

И снова – молчание.
Каждый думает о своём, сокровенном...

9.

Этот мир устроен неправильно – уж во всяком случае он создан не для меня, и всё больше я в этом убеждаюсь.

Только ближе к ночи проклятая мошкара, изготовившись спать, начинает нерешительно оседать на стеблях травы. Когда в ушах, наконец, смолкает надоевшее за день гудение и становится возможным смотреть вокруг без прищуря, мы отчаливаем домой.

Лодка бежит-скользит по вечерней реке, встречным ветерком ласкает пыльные, испепелённые солнцем лица. Вот она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось; в горниле распадков дотаивают последние алые головёшки. И вот уже лёгкие синие сумерки марают стволы деревьев и кромки остающихся позади берегов.

Взлетают потревоженные моторкой красноголовые крохали, но тут же пропадают в тиши и блеклой неясности подкрадывающейся ночи. Высвечивает на далёком небосклоне одинокая звезда...

Дед лёг на дно лодки, укрылся телогрейкой и тихо дремлет. Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом...

И снится мне белый теплоход.

...Он плывёт по утренней реке, полный дерзких помыслов и надежд. По палубе теплохода чинно гуляет нарядное общество людей, избранных, отмеченных честью плыть на этом судне. Они смеются, пьют из хрустальных бокалов и наслаждаются музыкой, неторопливо льющейся из репродуктора.

На носу теплохода стоит обворожительная женщина в голубом платье. Прохладный речной ветерок пенит её лёгкие выющиеся волосы. Хрупкий, смущённый мальчик прижался к ней и боязливо смотрит за корму.

Весело играет вода за бортом, проносятся мимо редкие осенние листья. Со всех сторон высятся горы и желто-красные леса; изредка мелькнёт и исчезнет за поворотом одинокая деревушка... Вот начинают попадаться луга и серые от прошедших дождей копны, лёгкий парок взвивается над ними.

Один из этих лугов мальчику до боли знаком. Несколько человек стоят на скошенной поляне и машут мальчику руками, но так машут, словно навек прощаются с ним.

До рези в глазах глядяваясь в лица этих людей, – он вдруг узнаёт их! Сам не замечает, как поднимает руку и тоже машет им на прощание.

Играет музыка, теплоход шлёпает «лаптями» по воде, но сквозь шум долетают с берега слова: «Будь счастлив, милый, в той далёкой стране!»...

Тут я просыпаюсь и тихо плачу. Мне очень жаль этого мальчика.

Дед расценивает мои слёзы по-своему:
– Замёрз? – приподнимает край телогрейки. – Лезь под стяжёнку...

Забираюсь к старику, успокаиваюсь и снова засыпаю.

...В темноте лодка упирается в берег, где ещё днём купали в реке иконы отчаявшиеся старухи, а сейчас только синяя темь воды. Дед корячится, кричит, не может спросонья вылезти из лодки, то одну, то другую ногу неуверенно перекинет за борт, но тут же боязливо одергивает назад.

– Ты так скоро на старуху ногу закинуть не сможешь! – крупно содрогается животом дядя Коля.

На лавочке, как обычно, сидит в одиночестве бабушка: ждёт. С нашим появлением встанет – вспухшие веретями жил руки скрещены на животе, связка ключей оттягивает карман выцветшего платишка. Подсобляет – берёт у старика грабли.

– Чё, баушка... как картоха? – уморёно переставляя кирзовые сапоги, спрашивает с тяжёлой одышкой дед.

Старуха вздыхает:

– Несколько кустов подкопала – две-три бабололки...

– Худо. Картоха – продукт!

Я иду позади всех. У ворот останавливаюсь и смотрю туда, куда скрылось солнце.

Темно. В небе лежат крупные звёзды. За рекой, на опушке леса, загорается длинноногая створа. Красный огонёк призывно мигает уставшему миру...

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни и что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.

(Источник:
«Наш современник».
2010 год)